

Русский versus российский: исторический и социокультурный контекст функционирования лингвонимов

Комментарий к статье Томаша Камуселлы

Оксана Остапчук

Статья *The Change of the Name of the Russian Language in Russian from Rossiiskii to Russkii: Did Politics Have Anything to Do with It?* откровенно полемична и заканчивается приглашением к дискуссии. Осмелимся этим воспользоваться предложением и высказать ряд соображений с точки зрения лингвиста и историка языковой ситуации.

В заглавии статьи сталкиваются два прилагательных: *русский* и *российский*. В современном языке этноним *русский* (и соответствующий ему лингвоним) функционирует параллельно с определением *российский*. Выбор определения в пользу *русский* в составе лингвонима является сегодня безусловным, однако в языковом сознании сохраняется «историческая память» о существовавшей двойственности. Так, на сайте *грамота.ру*, поддерживаемом Институтом русского языка РАН, один из пользователей обратился к администратору с просьбой уточнить дату введения «официального названия» *русский язык* вместо *российский язык*. Авторы сайта, уклонившись от прямого ответа, указали на первую половину XVII в. как время закрепления в этой роли прилагательного *российский*, отметив постепенную утрату им функции лингвонима к концу XVIII в. Применительно к современности поясняется, что «прилагательное *российский* закреплено только за характеристикой государственной принадлежности (но ср. также вполне допустимое *российские языки* – о языках народов России)».¹

С таким однозначным выводом лингвистов не согласен известный исследователь истории идей и понятий в русском и польском концептуальном пространстве профессор Краковского университета Анджей де Лазари. В своих многочисленных (в том числе популярных) публикациях он неоднократно указывал на то, что даже современное употребление синонимичных определений *русский* и *российский* не всегда укладывается в дихотомию ‘народный, этнический’ – ‘государственный, национальный’, демонстрируя неустойчивость данной оппозиции (ср. *Российский государственный гуманитарный университет* – *Государственный Русский Музей*,

1 http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti/36_186

журнал *Русский репортер* и пр.),² хотя в прилагательном *русский* этнические коннотации явно преобладают. Исследователь указывает и на определенную сложность при передаче названных имен в польском (заметим, и не только в нем) языке: так, польский аналог *rosyjski* соответствует обоим русским обозначениям (и политониму, и этнониму), в свою очередь, *ruski* в польском закреплен либо в устойчивых словосочетаниях типа *ruski miesiąc, pierogi ruskie*, либо применяется для обозначения всей группы восточнославянских языков или только украинского (реже белорусского) языка, особенно когда речь идет об истории.³ Заметим, здесь польский язык некоторым образом сохраняет «архаическое», присутствовавшее в том числе в XIX в., распределение значений.

Истоки конкуренции прилагательных *русский* и *российский* как этнических атрибутов следует искать в истории, и здесь ход мысли автора обсуждаемой здесь статьи совершенно понятен. В статье поднимается вопрос об употреблении и идейно-политических коннотациях названных определений в функции лингвонимов преимущественно в XIX в., но с привлечением довольно обширного материала из других исторических эпох. Здесь, впрочем автор грешит некоторой небрежностью. Так, никакой «личной унии» Московского княжества с «Владими́ро-Суздальским княжеством» в 1328 г. не произошло: «Владими́ро-Суздальского» княжества ни тогда, ни позднее не существовало, но в 1328 г. великим князем Владимирским, то есть номинальным главой Северо-Восточной Руси, стал московский князь Иван Калита. В 1325 г. не произошло «окончательного переноса» митрополичьего престола в Москву – эта дата крайне условна (точнее было бы говорить о том, что переселение митрополитов в Москву происходило в пастырство Петра и Феоноста).⁴ Кроме того, автор не упоминает, что уже в начале XIV в. Константинопольский патриархат разделил русскую митрополию на две части. В связи с этим тезис о возникновении «Малой России» в позднее средневековье и почему-то обособившейся от нее «Великороссии» лишь в XVI в. звучит неубедительно, причем никаких ссылок не предложено, и остается думать, что автору остались недоступны исследования в этой области.⁵ Нуждается в пересмотре и утверждение о том, что концепт «русская вера» с 1623–1624 гг. прочертил границу между православными «нами» и «неправославными»

2 Анджей де Лазари. Давайте кончать этот неравный бой, а то действительно русофобом стану 23/08/2006, см. <http://www.inosmi.ru/online/20060823/229500.html>; Анджей де Лазари. Как быть русским?, см. <http://rys-arhipelag.ucoz.ru/publ/9-1-0-1062>

3 Анджей де Лазари. Польская и русская душа – взаимное восприятие, см. <http://pravcenter.narod.ru/Lazari.htm>

4 Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. Т. 3. См. <http://otechnik.narod.ru/makary/mak3101.НТМ>. За исторический комментарий и библиографические ссылки по теме благодарю д.ист.н. К.Ю. Ерусалимского.

5 См., например: Лурье В.М. Русское православие между Киевом и Москвой. Москва: Три квадриги, 2009.

(главным образом будто бы мусульманскими и буддистскими!) «ими».⁶ В рассуждениях о значении «Малой» и «Великой» атрибутики «России» в XVI–XVII вв. исследователь систематически обходит стороной значение термина «Белая Русь», который в московских источниках является системной частью триады *Великая – Малая – Белая Россия*. Это упущение обрекает автора на неверный вывод о том, что в тот период существовала дихотомия православной («великой») и неправославной («малой») России.⁷

Одним из ключевых моментов при обсуждении проблемы истории понятий '*российский*' и '*русский*' представляется вопрос о закреплении в собственно русском языковом пространстве базового для всех последующих производных политонима *Россия*. Проблема национально-языковой атрибутики и истоков противопоставления в современном языковом сознании терминов *Россия* и *Русь*, *российский* и *русский* давно привлекает и историков, и лингвистов, в частности, ею занимался выдающийся славист, этимолог Олег Николаевич Трубачев.⁸ Используя материалы картотеки Древнерусского словаря, относящиеся к XII и более поздним (вплоть до XVII) векам, он констатировал фактически неограниченное употребление этнического определения *русский*, *русьскыи* в памятниках, в том числе в устойчивом названии *Русьская земля* и в обозначении *русской простонародной язык*.⁹ Заметим, такое словоупотребление фиксируется им (без соответствующего указания) не только в южнорусских (читай украинских), но и собственно русских (великорусских) памятниках, включая грамоты XVII в.

В рассматриваемой статье автор безоговорочно поддерживает концепцию византийского происхождения термина *Россия* (см. выше наше замечание о разделении «русской» митрополии Константинополем в XIV в.). Заметим, что данная концепция не является единственной, поскольку не объясняет фактического отсутствия данного термина вплоть до XVII в. в собственно русском политическом и социокультурном лексиконе. В уже упомянутой работе О.Н. Трубачев, используя сугубо лингвистическую аргументацию (удвоение -ss- как позднелатинский способ нейтрализации озвончения интервокального -s- ср. исходное греч. Ῥως с одинарной сигмой, ст.-пол. *Rosyja*), характеризует (вслед за выдающимся польским этимологом А. Брюкнером) название *Россия* «как искусственное образо-

6 S. Plokhy, *The Origins of Slavic Nations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

7 O. Latyszonek, *Od rusinów białych do białorusinów* (Białystok, 2006).

8 Трубачев О.Н. Русь, Россия. Очерк этимологии названия // Русская словесность. 1994. № 3. С. 67–70.

9 Трубачев О.Н. Русский – российский. История, динамика, идеология двух атрибутов нации // Трубачев О. В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. Москва: Наука, 2005. С. 216–227; см. также Трубачев О.Н. Труды по этимологии: Слово. История. Культура. Т. 2. Москва: Языки славянской культуры, 2005. См. <http://pravaya.ru/ks/20338>

вание, следы которого ведут на Запад».¹⁰ Любопытно, что данное мнение поддерживает и ведущий специалист по истории Украины XVI–XVII в. Н.В. Яковенко, придерживающаяся противоположных идейно-мировоззренческих взглядов, в том числе относительно «единства» трех восточнославянских народов. В своей работе об истории именования украинских земель (кстати, эта проблематика также затрагивается автором рассматриваемой статьи, и ссылка на данную работу Н.В. Яковенко была бы там нелишней) исследовательница предлагает свою версию происхождения термина *Россия*: «Не вызывает сомнения, что новорожденная «Россия» имела львовское, причем не шляхетское, а мещанское происхождение, и что фоном для ее появления стали, с одной стороны, первые за всю историю Русской Церкви визиты восточных патриархов во Львов в 1580-е гг..., а с другой – «греческий» акцент во вспышке образовательной активности основанного львовскими мещанами православного братства»¹¹ (перевод наш – О.Ост.). В этой же статье Н.В. Яковенко отмечает широкую распространенность термина *Россия* в XVI–XVII вв. на территории украинских земель, указывая, что вплоть до событий 1648–1654 гг. он использовался как свободный вариант обозначения *Русь*. «Западный» след в распространении термина *Россия* на землях Московии, таким образом, конкретизируется и локализуется на территории современной Украины.

Применительно к определению *российский* историка языка, и О.Н. Трубачев в частности, отмечают его первоначально возвышенный стилистический характер: ср. *все Российское царство*, 1564 г. (из послания Ивана Грозного), *князеи російских, но русских людей, в руських вестях* (в грамотках XVII – начала XVIII в.). Этимолог приводит также пример, иллюстрирующий возможность смешения функционально и семантически близких (идентичных?) определений из «Лексикона» Федора Поликарпова 1704 г.: *Рускій, зри російскій*, а также ... *rutenus*.¹² Заметим, что к определениям *русский* и *российский* в произведении Поликарпова обнаруживаем еще как минимум один аналог – *rutenus*, не отмеченный специально Трубачевым (как «опущены» им значения прилагательных *руський*, *русский* из «Малоруско-німецкокого словаря» Е. Желеховского и С. Недельского, т. II, Львів,

10 Там же.

11 Яковенко Н. Вибір імені versus вибір шляху (назви української території між кінцем XVI – кінцем XVII ст.) // Міжкультурний діалог. Т. 1: Ідентичність. Київ: Дух і літера, 2009. С. 68, 57–95, на более позднем материале ту же проблему разбирают (XVII–XVIII в.) Ф. Сысын и С. Плохий: F. E. Sysyn, “Fatherland in Early Eighteenth-Century Ukrainian Political Culture,” Giovanna Siedina, ed., *Mazepa e il suo tempo. Storia, cultura, società* (Alessandria: Edizioni dell’ Orso, 2004), pp. 39–53; S. Plokyh, “The Two Russias of Teofan Prokopovych,” Siedina, ed., *Mazepa e il suo tempo*, pp. 333–366.

12 О.Н. Трубачев ссылается на: F. Polikarpov, *Leksikon trejazycnyj. Dictionarium trilingue* (Moskva, 1704); *Hachdruck und Einleitung von H. Keipert* (Munchen: O. Sagner, 1988) (= Specimina philologiae slavicae Hrsg. von O. Horbatsch. G. Freidhof und P. Kosta Bd. 79), pp. 598, 798.

1886). Для нас же принципиальное значение имеет сосуществование и конкурирование всех перечисленных определений как в украинском (рутенском), так и русском (московском) языковом и культурном пространстве в период с конца XVI по начало XVIII вв. Очевидно, что в данный период продолжается концептуальная специализация терминов, их закрепление за различными понятиями. Так, уже к концу XVII в. *руський* (*rutenus*) оказывается знаком складывающегося (западно)украинского культурного дискурса, сохранявшим свою актуальность вплоть до начала XX в., *Россия* же, а вместе с ней *российский* и *русский* закрепляются в культурном и языковом пространстве формирующейся империи Петра I. Что касается последних двух, конкуренция этих синонимичных определений – как это всегда бывает в языке – довольно рано оказалась сопряженной с дополнительным семантико-стилистическим сдвигом. Употребление прилагательного *российский* сопровождалось первоначально возвышенными коннотациями («История российская» В.Н. Татищева, «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н.И. Новикова), что не отменяло существования фактически дублетных определений *российский язык* у М.В. Ломоносова и *русский язык* у А.П. Сумарокова, В.К. Третьяковского при преобладании более «высокого» термина в заглавиях (ср. «Грамматика российская»).

Этот факт демонстрирует то самое явление, которое со всей отчетливостью проявилось в приводимых автором статьи – к слову, крайне любопытных – подсчетах употребимости определений *российский* и *русский* в составе лингвонимов в конце XVIII – начале XIX в. Отмеченное в этот период первоначальное преобладание сочетания *российский язык* в названиях словарей можно трактовать, с одной стороны, как дань классицистической традиции, с другой – как знак официального статуса названия, в составе которого лингвоним призван был выполнять не только идентифицирующую, но и «высокую» символическую функцию. Некоторые сомнения вызывает в этой связи принцип отбора материала в рассматриваемой статье: заголовки, особенно в тот период, когда словарь был не просто рядовым фактом книгоиздания, но выполнял важную роль установления языкового образца, нормы, в силу своей функциональной нагруженности не всегда отражают реальное словоупотребление, частотность и место языковой единицы в системе. Гораздо более показательны здесь были бы данные, отобранные из сплошного текста, так, как отмечает все тот же О.Н. Трубачев, словарь языка Пушкина дает 10-кратное преобладание определения *русский* над *российский* (правда, здесь лингвонимы особо не оговариваются). Ощущавшийся уже в начале XIX в. налет определенной не только торжественности, но и архаичности приводил к вытеснению *российский* на периферию узуса, постепенно лишая его функции лингвонима. Однако окончательному переходу прилагательного в пассивный запас помешала тесная его связь с политонимом Российская империя. Таков лингвистический, внутрисистемный контекст изменений, ставших предметом анализа в рассматриваемой статье.

Обратимся теперь к контексту историческому. Основная гипотеза, высказанная автором статьи, увязывает произошедшую в 30-е гг. XIX в. смену лингвонима с близкими по времени политическими событиями, в частности, с польским восстанием 1830–1831 гг. на территориях, принадлежавших до 1772 г. Речи Посполитой. Гипотеза эта кажется при первом взгляде весьма привлекательной, особенно учитывая очевидное совпадение во времени и отмеченную автором – действительно имевшую место – распространенность термина *руський* на украинских территориях, вошедших в состав России, а также наблюдаемую (не только в прошлом) тенденцию к отождествлению носителями русского (имперского?) языкового сознания терминов *руський* и *русский*. Думается, однако, что при всей продуктивности социолингвистического подхода для оценки конкретных событий в истории языка, установить четкие временные границы того или иного конкретного языкового факта (как в нашем случае – смены лингвонима) и однозначную его причину – задача крайне непростая.

В то же время – и здесь мы совершенно согласны с автором статьи – нельзя отрицать влияние общего социально-политического контекста на сферу именованя этнических атрибутов, в том числе языка. Особенно актуально сказанное применительно к первой половине XIX в. – эпохе складывания политического и националистического дискурса как собственно русского, так и будущего украинского, и активного развития польского. Любопытны в этом отношении наблюдения исследователей национализма и национальной идентичности в России: так, в полемике славянофилов и западников многократно появляется именно *русский* (не *российский*) человек как собирательная категория, хотя о себе участники дискуссии никогда не говорят «мы – русские».¹³ Фактором, несомненно способствовавшим кристаллизации понятий и имперского, и националистического/их дискурсов, стали, на наш взгляд, события, предшествовавшие польским национальным восстаниям, а именно разделы Речи Посполитой, согласно которым в составе Российской империи оказались значительные территории, заселенные восточнославянским населением (украинским и белорусским). Осознание этого факта в русской общественной мысли происходило на фоне формирования представлений об этнической (национальной) территории. При этом в «идеальное русское Отечество» включались как неотъемлемая часть украинские и белорусские земли, на которые претендовали также идеологи польского националистического дискурса, что придавало русско-польскому конфликту в XIX в. особую остроту.¹⁴ В этом смысле нельзя не согласиться с высказан-

13 Малинова О.Ю. Традиционалистская и прогрессистская модели национальной идентичности в общественно-политических дискуссиях 1830–1840-х гг. в России // Консерватизм в России и мире. В 3 ч. Ч. 1. Воронеж, 2004. С. 27–49.

14 Подробнее о термине «идеальное Отечество» применительно к истории польско-русско-украинских отношений, а также о терминологической войне за территории, присоединенные в результате разделов Польши к России, см. Миллер А.И.

ной автором статьи гипотезой о наличии «польской» интриги в процессе вытеснения определения *российский* термином *русский* в составе лингвонима, но влияние польского фактора было намного глубже и, безусловно, не ограничивалось периодом конкретного восстания.

В обосновании концепции «большой» *русской* нации, объединяющей собственно великороссов, украинцев и белоруссов, свою важную роль играло и представление о близости языков (наречий), и общая неустойчивость терминологии, как в сфере лингвонимов, так и в области собственно лингвистической номенклатуры (что хорошо отражает нечеткая дифференциация терминов *язык* и *наречие*).¹⁵ Ситуация эта сохраняется и после 1830-х гг. Так, М.А. Максимович – видный исследователь украинского фольклора и языка и в середине XIX в. выделял в составе *речи восточнославянской или русской* два языка (или речи): *севернорусский* с великороссийским и белорусским наречиями, и *южнорусский* с наречиями малороссийским и червонорусским.¹⁶ Как можно заметить, при попытке выстраивания иерархии языковых идиомов (речь – язык – наречие) в их наименовании по-прежнему свободно варьируются корни *-рус-* и *-рос-*: *русский*, *севернорусский*, *южнорусский* язык (речь), но и *червонорусское*, *белорусское* наречие в этом смысле противостоят *великороссийскому* и *малороссийскому* наречию. Впрочем, в 1846 г. в рамках этнографической программы, составленной для Русского географического общества Н.И. Надеждиным, была предпринята попытка не только уточнения собственно лингвистической терминологии (язык, наречие, поднаречие), но и разграничения лингвонимов *российский* и *русский*. Надеждин формулирует разницу между официальным (читай государственным) *российским* и *русским* языком, «которым Русь запросто пробавляется», привлекая при этом внимание к «главным видоизменениям» *великороссийским*, *малороссийским* и *белорусским*.¹⁷ Подчеркнем: вплоть до середины XIX в. и *российский*, и *русский* могли использоваться параллельно в функции лингвонимов, постепенно приобретая все более отчетливые коннотации: первое государственно-официальные, второе – этнически-(просто)народное. При этом не подлежит сомнению, что восприятие и представление *малороссийского* языка как части *русского*, *малороссийского* фольклора как «отрасли» *русской* словесности¹⁸ полностью

«Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). Санкт-Петербург, 2000. С. 12, 36–37.

15 Об этом, в частности, пишут Александровский И.С., Лескинен М.В. Некоторые вопросы этнографического изучения и полемики о статусе малороссийского языка в российской литературной и научной публицистике XIX в. // Русские об Украине и украинцах: очерки. Санкт-Петербург: Алетей, 2012. С. 172–243.

16 Максимович М. Ответные письма М.П. Погодину // Русская беседа. 1857. кн. 2. С. 87.

17 Надеждин Н.И. Об этнографическом изучении народности русской // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 111–112.

18 См., например, Метлинский А.Л. Предисловие // Метлинский А.Л. Народные южнорусские песни. Киев, 1854. С. 12.

соответствовало концепции «*большой русской нации*» и было очевидным полемическим ответом на словоупотребление *ruski* и/или *ukraiński* в польском культурном дискурсе того времени. В этом смысле распространение этнонима *русский* (точнее, его возрождение, учитывая предшествующую традицию словоупотребления) в политическом дискурсе того времени вполне можно рассматривать как часть «терминологической» войны за «присвоение» украинских земель.

Приведенные здесь фрагментарные факты, иллюстрирующие функционирование терминов *российский* и *русский* в социо-политическом контексте начала-середины XIX в. нисколько не исчерпывают затронутую проблематику и свидетельствуют о крайней плодотворности выдвинутой автором рассматриваемой статьи гипотезы о связи смены лингвонима и политических процессов. Таким образом, на вопрос, сформулированный в названии статьи, мы отвечаем утвердительно. Но окончательные ответы и датировку этого процесса может дать только подробное исследование документов эпохи и соответствующего словоупотребления.